



К. И. ЧУКОВСКИЙ

Открытое письмо В. В. Розанову

Дорогой Василий Васильевич!

Вас теперь принято очень бранить, но давайте я Вас пожалею. Вы так нуждаетесь в жалости, — бедный, Вы очень устали. Я читал Ваши последние книги; в них как будто есть и тревога, и пафос, но это меня не обманет. «Спать хочется!» — вот скрытое и, право, единственное Ваше настоящее слово теперь. Для виду Вы в своих статьях жестикулируете и ставите знаки восклицания, но как бы вдохновенна ни была каждая Ваша статья, — из каждой мне слышится голос:

— А, впрочем, черт с вами! Делайте, что хотите. Оставьте меня в покое.

Помню, в «Весах», прочитавши Вашу странную «Мечту в щелку» (1905, VII)¹, я был поражен неожиданной откровенностью ее последних строк:

— «Чувствую, что решительно костенею», — говорили Вы там. — «Только и интересуюсь, что нумизматикой».

Но, костенея, Вы притворялись, что живы и что Вы очень взволнованы, и все время писали о рабочих депутатах, о Цусиме, о Гапоне, об Азефе, и даже недавно, на днях, напечатали об этом книгу: «Когда начальство ушло».

Превосходная книга! В ней Вы волнуетесь всеми волнениями общества, но мимоходом, как будто в сторону, как будто по секрету кому-то, Вы шепотом тут же признаетесь:

— «Я стар, чтобы волноваться волнениями общества» (с. 76).

И даже еще откровеннее:

— «Боже! Как давно я сам решительно ничего не хочу, кроме как сидеть дома, обув туфли и надев халат!» (Статья об А. П. Философовой)².

— «Эх, не будь я Обломов, непременно стал бы Мирабо!» — восклицаете Вы. Т. е. не то чтобы Обломов, а равнодушный, кос-

тенеющий человек, который уже так окоченел от усталости, что ему решительно все — «все равно», на все решительно «наплевать». «Думайте, что хотите, делайте, что хотите, а, впрочем, провалитесь сквозь землю», — такой ветерок уже веет давно ото всех Ваших похвал, восторгов, обличений...

И потому я не удивляюсь, когда в одном месте Вы пишете, что революция есть — «непостижимая, святая Евхаристия», «новое христианство» (с. 318), а в другом месте, что это «мордобой», и «ненавидение», и «садизм»; когда в одном месте Вы возмущаетесь, зачем «радикалы» ликовали при смерти Александра II, а в другом месте сами о себе заявляете:

— «Да я сам осуждаю ли убийцу Плеве? ³ Нисколько. Помню, тогда радовался» (с. 285).

Поистине, Вам все — «все равно». Других ли обличать в жажде крови, самого ли себя, быть анархистом или быть монархистом, и не изумляйтесь, если я покажу Вам в Вашей книге страницы, где самодержавие Вы зовете «разлагающимся великаном», «ослабнувшим фетишем», а про республику восклицаете, что это и «юность», и «труд», и «надежда», и «поэзия» (с. 344), — вот до каких пределов простирается Ваше «все равно»! Вы написали книгу о революции, но с первых же страниц сообщили:

— «Я даже не вышел на улицу!» (с. 33).

И недаром, нагромоздив очень много восторженных строк об «освободительных» наших митингах, Вы тут же, не скрываясь, признаетесь:

— «До митингов, положим, мне дела нет. Я человек старый и ленивый. Да и до политики дела немного. Жил и живу в своем углу» (с. 103). «Притом люблю нумизматику» (с. 79).

И все же Вы пишете и пишете, — и порою очень взволнованно, — именно о митингах, выборах в Думу, о политике, — и я бы мог Вам сказать, что это грех и цинизм соваться со своей «зевотой», со своим «все равно», со своим «наплевать», со своей «нумизматикой» туда, где люди веруют, и жертвуют собой, и умирают, но какой же я Бурцев!⁴ Бог с Вами. Да и как же Вас «обличать», раз Вы сами о себе говорите:

— «В конце концов, я трус, ибо умел быть смелым только в мечтах, а жизнь прожил позорным ослом, не умевшим ни бежать, ни лягаться», ослом, «которого бьют и который несет какую-то чужую проклятую ношу» («Весы», 1905)⁵.

Опять-таки ноша, тяжесть, придавленность, опять-таки та же усталость... Нет, пусть на Вас нападают другие, а я, как хотите, не стану.



Окостенение, равнодушие, полу-сон, полу-смерть, да как же это с Вами случилось! Вы полу-труп, — невозможно!!! Ведь кто же и любил так жизнь, как Вы. Я читал Ваши прежние книги. В них как будто не одно, а тысяча сердец, и каждое полно каким-то горячим вином, в каждом — этот изумительный «зеленый шум, весенний шум». Ведь Вы даже на Бога своего любимого восстали, на Христа Иисуса, чуть только Вы заподозрили, что Он недостаточно счастлив этим шумом зеленым и этим биением собственной крови. Как смеет Бог грустить и тосковать, как смеет Он страдать и быть распятым!! — Зачем ты так бледен, Галилеянин? — допрашивали Вы тысячу раз. О, воистину, Вам нужен был краснощекий, смеющийся Бог. — Почему Иисус никогда не смеялся? — воскликнули Вы в своей знаменитой статье «Об Иисусе сладчайшем» *. Почему никогда не шутил, не улыбался? «Пепельное христианство», — Вы говорили тогда, — оно Голгофой затуманило весь мир! Почему в Евангелии никто ни в кого не влюбился?» И сколько раз Вы возмущались, отчего нет музыки в православных церквях (см. «Русская мысль», 1908, V)⁶. Вам так хотелось Бога поющего и играющего. Вот до чего Вы любили когда-то игры и песни «бытия». «Христианство есть смерть, — говорили Вы, — во Христе прогорк мир», — подлинное Ваше выражение. «Во Христе испепелились все вещи» — или, вернее: «обледенели», наступил какой-то «мировой декабрь, когда ничто не растет, все замерзло», покрылось льдом, — и Вы отвернулись от такого Христа, ибо Вам, жизнелюбцу, был мил «март месяц мироздания», месяц брожения жизненных соков, рождения и сладострастия. Вам не нужна была эта религия пустыни, религия Голгофы, Вам была близка религия Вифлеема, где Богоматерь рождала Ребенка, религия животных стад, окружавших ясли, — о, сколько Вы писали об этом в своих вдохновенных, пьянительных книгах. И даже не Тот, Кто покоился в яслях, а вот эти самые «лошадки и коровки» **, — вот где для Вас божество, и вполне был прав один Ваш комментатор:

— «Бог-животное — вот Бог Розанова». «Ищи Бога в животном!» — подлинные Ваши слова; слово плоть бысть — это Вам, плотолюбцу, и дорого, — и опьяненный жизнью, зеленым шумом земли, вы уж не хотите ни неба, ни звезд. — Небо «у нас под ногами», — твердите Вы («Весы», 1904, II)⁷. Вам не нужно

* «Русская мысль», 1908, I.

** «Когда начальство ушло», с. 278.

«религии безземного Неба», — и, увидев Дункан, и «сосцы ее грудей», «темнеющие через тюль», Вы, — я помню, — воздели руки и воскликнули набожно:

— Благословен Господь, создавший натуру! («Танцы невинности», Рус<ское> сл<ово>)⁸.

«Натура» — в этом Ваша религия. «Не религия Милости, а религия Натуры», — повторяете Вы («Весы», 1909, IX)⁹. Люди Вам всегда были милы не как отдельные лица, а как «ветви древа жизни», как «растеньица», — и из всех заповедей Вы запомнили и постигли одну:

— Плодитесь и размножайтесь!

Беременный живот для Вас дороже, чем лицо Рафаэля, чем голова Леонардо. Когда вы захотели похвалить когда-то Достоевского и Толстого, вы сказали: «беременные», «чресленные» писатели («В мире неясного и нерешенного», с. 18) — и пусть читатель достанет прошлогодние «Весы» (восьмую книгу), — какими жаркими и душевными словами Вы славите там эти неоскудевающие чресла библейских иудейских женщин. Вас всегда влекла к себе Библия — универсальный родильный дом — и, совсем не замечая Бога-Духа, и убегая от Бога-Сына, Вы знали, и видели, и ощущали в этом мире, в этом родильном доме — только Бога-Отца, Бога-Акушера, Бога Сарры, Авраама, Иакова.

Эта страстная, безмерная любовь к цветущей, чресленной, рождающей плоти, — как я чувствовал ее в каждой Вашей строке. В самом стиле Ваших писаний была какая-то телесная возбужденность, ненасытимость, какая-то полнокровность и похоть, — и если Вы правы, что гений есть половое цветение души, воистину Вы были гениальны, — и как убога наша «логика» и наша «грамматика» рядом с Вашим «чревным» и «чресленным» мышлением. Вы словно не мозгами тогда думали, а соками всего своего тела, — все так терпко, и томно, и душно на Ваших страницах. Мы все фрунтовики перед Вами, скалозубы, скопцы, наши строки так формальны и пресны, — мы умеем излагать лишь наши мысли и чувства (да и то до чего отдаленно); — Вы же всегда на бумагу клали всего себя, со всей своей «физикой», со всей «физиологией»; и это делало самые вздорные, самые дикие Ваши слова такими же несомненными, как «несомненен» всякий организм, как бы он ни был уродлив, — а Ваши статьи почти всегда бывали организмами, живокровными, животрепещущими, — хотя сколько гомункулусов, выкидышей, недоносков, мертворожденных...



Есть у Вас такие страницы, к которым, кажется, если приложишь руку, то почувствуешь теплоту и биение крови, — напр.: «Семья как религия»¹⁰, «Из загадок человеческой природы»¹¹, «Об Иисусе Сладчайшем»¹². И все это застыло, оледенело теперь? Не верю, не понимаю! Зеленый шум ужель замолк у Вас в душе, и все навек покрылось там снегами? Снова раскрываю Вашу последнюю книжку «Когда начальство ушло», эту красную книжку о политике, снова читаю в ней:

— «Я махнул рукой на политику» (с. 285). «До митингов мне дела нет» (с. 103). «Да и до политики мне немного дела» (с. 103).

И вдруг натыкаюсь, да что же это такое? Да это невероятно, смотрю и не верю глазам.

— «Ну ты, однако, не создана для любви и вообще страсти нежной, которую воспел Назон», — читаю я в этой книжке. «Что-то совсем другое, — общественное, групповое, не постельное, не спальное»... «Маленькая, почти низкорослая, широко и свободно раздалась она в плечах, в шее, в лице»... «Я бы ни за что не мог полюбить такую» — Вы помните, где Вы писали все эти строки, где они создались у вас?

На суде рабочих депутатов!!!

Вы пошли на суд рабочих депутатов и там заметили... женщину — «не постельную», «не спальную» — и подробно описали ее нам. А помните ли Вы, кто такая была эта женщина? Супруга г. Носаря¹³, председателя совета рабочих депутатов, — она-то и оказалась, по-Вашему, «не постельной», «не спальн^{ой}» женщиной, и вы тут же догадались про нее:

— «Ну, Носарь с Носарихой недолго потовариществуют!» (с. 410).

И для контраста описали на тех же страницах другую женщину, «милую», у которой Вы заметили обручальное кольцо, — и про нее, напротив, Вы выразились:

— «Эта полюбит раз и разлюбит раз. Жизнь, любовь, труд — и могила» (Ibid.).

Потом, побранив мимоходом жандармов, вы описали еще одну женщину («очевидно, не старше 25 лет», «мелка в теле», «лицо зрелое и даже перезрелое») и еще одну «темную старуху», и еще одну — «вечную девственницу» («стан высокий, полный, величественный», «смугла, но не очень», «породиста» и т. д.). Потом Вы поставили точку и ушли. А как же суд рабочих депутатов? Его-то Вы и не заметили. Он вам не любопытен, не нужен, — да и темно было в зале, да и плохо слышно, — словом, как-то так

случилось, что, озаглавив статью: «На суде рабочих депутатов», — Вы почти всю ее посвятили пяти незнакомым дамам, а все остальное забыли, все остальное пропустили сквозь пальцы, и это с Вами не единственный случай. В той же Вашей книжке читаю такое:

— «Как-то я заглянул в три часа ночи, перед тем как идти спать, за ширмочку, где спала сестра этой женщины... еще девица» (с. 373).

И Вы помните ли сами, как зовется эта статья: «В русском подполье»!!!¹⁴ Не заглядывая к женщинам за ширмочку, Вы бы ничего не могли сказать о русском подполье и вообще ни о чем.

Конечно, можно бы здесь похихикать над Вами, можно бы и вознегодовать, но этот спорт я предоставляю другим, кто не читал Ваших книг. Здесь же я только отмечу, что эта черта в Вас основная: скучая политикой (и всякими «идеями»), Вы, где только можно, и даже там, где нельзя, рветесь все к тем же «чреслам», к той же «физиологии», — и, конечно, это дико, когда Вы пишете, что трудовой группе будто бы нужна «не Татьяна, не Лиза, а ядреная баба» (с. 236), — но что же делать, если только чрез посредство «физики» Вы способны хоть что-нибудь понять в той или другой «идеологии».

Помните ли Вы свою статью о проф. Ключевском, где Вы описали, как читал Ключевский, каким голосом и какая у него осанка, и какая прическа, а о чем он читал, не сказали, забыли, — и все же превосходно очертили самую душу его души. «Понюхать», «пощупать», «потрогать рукой» человека — для Вас и значит «понять», другого способа у Вас нет никакого, — и как Вы сердитесь на наших революционеров, зачем они судили об Азефе по его «программе», а не по его походке, шее, бороде («Рус<ское> сл<ово>», 1909, I)¹⁵.

Я помню, как об А. Философовой в огромном фельетоне Вы рассказали нам и то, какая у нее фигура, и какова она была в юности, и какое было у нее декольте, и какая прическа, — но даже не подумали сказать о том, чем г-жа Философова стала так дорога для русского общества, — об ее идеях и идеалах. «Идеи» и «идеалы» для Вас всегда деталь, второстепенность, производное от носа, глаз, фигуры и походки, и в этом Вы правы, в этом Вы мудры, но что же в таком случае может быть для Вас приманчиво и любопытно в политике, где ведь все — плохие или хорошие — но идеи, идеи, идеи, где ни походки, ни лысины, ни «чресла» не значат ничего, не стоят ничего, не характеризуют ничего; здесь все для Вас чужое, здесь Вы всему чужой, здесь все для Вас — «скука», на все «наплевать», все — «все равно»,

здесь и начинается Ваше «костенею», Ваша «ноша», Ваша «усталость».

— «Бог с ней, с политикой — это от сего мира, там, около колыбельки, — начало иного мира», — так Вы недаром когда-то определили смысл толстовской эпопеи («В мире неясного и нерешенного», с. 57).

Колыбелька — здесь Вы никогда не устанете, никогда не за-костенеете, никогда не скажете «наплевать». Очень хорошо сказал об этом Андрей Белый в давнишних «Весах»:

— «Когда Розанов пишет о поле, он сверкает. Тут он подлинно гениален. Тут имя его останется в веках... Когда же он кстати и некстати притаскивает крылатые видения Иезекииля к современным темам, горящие уголья его творчества покрываются серым налетом фельетонного пепла»¹⁶. «Розанов-фельетонист — это рысь, посаженная в клетку» — и если Вас из клетки выпустить на свободу — Вы тотчас же поспешите, куда? — непременно к «чреслам», к тем самым, из-за которых Вы даже с Богом встали на бой; и здесь, уйдя сюда с головою, — Вы вновь почерпаете крепость, мудрость и пафос...

Не этим разбросанным строчкам передать все то чарующее, и жгучее, и нелепое, и глубокое, и безобразное, что за десять-пятнадцать лет написано вами о поле. Я только впишу наугад первое, что я вспомню, и если что я вспомню не так, надеюсь, Вы поправите меня. Вас я считаю единственным, поставившим в России «проблему пола». Гг. Арцыбашев, Каменский¹⁷ и другие «половые писатели» — перед Вами просто таперы. Вы в этом деле единственный виртуоз. Вы спросили когда-то, откуда дается нам наше мистическое чувство, чувство соприкосновения нашего таинственным мирам иным, чувство Бога и чувство вечности. И вы ответили:

— Это чувство есть чувство половое — и потому-то им в такой высокой степени и были объаты наши «чресленные», наши «беременные» — Толстой, и Лермонтов, и Достоевский, и потому-то оно совсем было чуждо «бесполому» Грибоедову, у которого — «какое нищенское миросозерцание, какое глубокое, до пяток, забвение миров иных» («В мире неясного и нерешенного»).

— «Нет чувства пола — нет чувства Бога!» — воскликнули Вы. — Чадозачатие есть главный трансцендентально-мистический акт, где человек актом участия своего сводит душу с до-мирных высот и завивает ее в стихии» (с. 117).

Пол — есть душа. «Утрата динамического в поле параллельна утрате динамического в душе». «Мысль, гений, всякие прозрения философские лучатся отсюда же («Религия и природа»,

с. 179). Лицо человека — есть выражение его пола, есть «ответ пола», и «вот почему любовь — то есть бесспорно и исключительно половое чувство — начинается с лица, пробуждается к лицу, вспыхивает при взгляде на лицо. Лицо в игре своей, выразительности, бесспорной и высокой одухотворенности есть только более понятные буквы того, что так темно в иероглифах пола».

«Пол есть святыня!» — не устаете Вы повторять. И мне особенно запомнилось, как Вы из того, что Свидригайлов тянулся к невинной, к 14-летней, и дермонтовский Бес тоже к 14-летней, к святой, заключаете, что свидригайловщина и карамазовщина есть явление религиозное, теистическое и подыскиваете всевозможные и даже невозможные доводы, чтобы доказать, что пол — это Бог, что в нашем отношении к Богу и в нашем отношении к полу есть какие-то параллельные чувства.

«Пол есть «податель жизни» — и Бог есть «податель жизни», — рассуждаете Вы. Пол у людей скрыт, укрыт от глаз, его нельзя видеть, и Бога-Иегову тоже ни один человек не мог никогда лицезреть. О поле люди не говорят, молчат, не называют по имени органов пола, — и имя Иеговы тоже вслух не произносилось у евреев *. Но мне самому неловко пересказывать все это так бегло и так формально. Пересказывать ваши слова значит на них клеветать. Напомню только, что единственное доказательство бессмертия нашей души Вы видите в... некрофилии, в том, что какой-то жених изнасиловал мертвую невесту («Весы», 1904); что, по-Вашему, другой неестественный порок тоже трансцендентен и божественен, ибо, сближаясь с животными, человек «погружается в мир под собой, в природу до себя, в дыхание более ранних дней творения» («В мире неясного и нерешенного»). Половая связь брата с сестрой и вообще всякое кровосмешительство также восхваляется Вами как самое благочестивое деяние (См. «Весы», 1909, VIII и IX). Еще одна половая аномалия, — та самая, в которой Гарден¹⁸ обвинял фон Мольтке, — тоже вызывает у Вас дифирамбы как некий кусочек «яхонта, аметиста, топаза, изумруда», вкрапленный в «толщу обыкновенного двуполого отношения» («Весы», 1909, III).

Словом, все Вам мило в области пола, все бури и смерчи, карамазовщина и свидригайловщина, Содом, как и Вифлеем, здесь все благословляется Вами и обожествляется Вами, и уходите себе с Богом сюда от рабочих депутатов, от Азефа, от Гапона, от революции, конституции — ведь ради этой же святыни Вы, обычно столь робкий («я каждого полицейского считаю своим начальст-

вом, а в конке — даже кондуктора конки»), не побоялись вос-
стать против Бога, и восстать так страстно, что люди верующие
все в один голос закричали про Вас:

— Антихрист!!!

И г. Бердяев обозвал Вас «врагом Христа, более страшным,
чем Ницше» («Рус<ская> мысль», 1908, I), а г. Мережковский —
«столь же гениальным, как Ницше, но более первозданным в
своей антихристианской сущности» *, а г. Философов — «самым
глубоким из антихристианских писателей» («Слово и жизнь»,
158); а г. Волжский так-таки всеми буквами написал: «Розанов
есть Антихрист» **...

А Вы... Вы в это время в газетах набожно ссылались на еван-
гельские тексты, порицали безверие Гюйо, изумлялись, как это
сенатор Ковалевский мог позабыть про Христа, про вечную
жизнь, — «ведь после Христа мы все братья, одно стадо, в кото-
ром невозможно овце погибнуть, если она не отделилась» («Рус-
<ское> сл<ово>», 1909, X).

— Как смел сенатор Ковалевский отделиться от стада Хрис-
това? — восклицали Вы в это время. — Как смел он отстать от
веры? Ведь «вера — источник бесконечной жизни». И «жалки-
ми костлявыми ручонками никому не заслонить свет Христов!»

Так писали Вы и пишете на тысячу ладов, ибо, в сущности, и
здесь Вам все — «все равно»: быть ли со Христом или против
Христа, любить ли Его или ненавидеть — не здесь Ваша святы-
ня и не здесь молитва. Святыня Ваша — «чресла», ей Вы не
изменяли никогда, а на все остальное «наплевать».

Р. С. Эти все мои слова не окончательные, потому-то я и обра-
щаюсь к Вам. Разъясните мне, в чем я неправ, ибо мне очень
больно было бы думать, что это мое мнение о Вас — не ошибка.
Равнодушие к Богу, равнодушие к родине и тысячи других «на-
плевать» — скажите, докажите мне, что все это мне почудилось,
и я первый обрадуюсь и первый скажу: «Я неправ».



* «Толстой и Достоевский», т. II, с. XX.

** «Из мира литературных исканий».